

Астафьев Виктор Петрович Тельняшка с Тихого океана astafevvictor.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

Александр Михайлову
Молодой мой друг! Ты, наверное, выбираешь сейчас трал с рыбой, стиснутой, зажатой в его неумолимо-тугом кошеле, которая так и не поняла и никогда уж не поймет: зачем и за что ее так-то? Гуляла по вольному океану вольно, резвилась, плодилась, спасалась от хищников, питалась водяной пылью под названием планктон, и вот на тебе, загребли, смяли, рассыпали по ящикам, и еще живую, трепещущую посыпали солью... Я все чаще и чаще на старости лет думаю о назначении нашем, иначе и проще говоря – о житухе нашей на земле, которую мы со всеми на то основаниями, для себя, назвали грешной. Грешники иначе и не могут! Сажай и дерьмом вымазанный человек непременно захочет испачкать все вокруг – таков не закон, нет, таков его, человека, норв или неизлечимый недуг, название которому – зло. И вот думал я думал, и о тебе тоже, губящем самое неразумное, самое доверчивое из всего, что есть живого на земле и в воде, и пришел к такому простому и, поди-ка, только по моим мозгам шарахнувшему выводу: а ведь неразумные-то, с нашей точки зрения, существа, как жили тысячи лет назад, так и живут, едят траву, листья, собирают нектар с цветов и планктон в воде, дерутся и совокупаются для продления рода, в большинстве своем только раз в году. Та же рыбка прошла миллионлетний путь, чтоб выжить, выявить вид свой, и те, кому, как говорится, не сулил Бог жизни, умирали от неизвестных нам болезней или, употребляя любимые тобой "ученые" выражения, – от катаклизмов. Они пришли к нам по суше и по воде уже вполне здоровыми, приспособленными к той среде, какую выбрали себе для своего существования. И не нам, самодовольным гражданам земли, жующим мясо, пьющим кровь, пожирающим красивые растения, подкапывающим корни, из ружей сбивающим на лету и во время свадебного токования вольных птиц, невинных животных, да еще и младенцев ихних, да хотя бы и ту же рыбу, не нам, губящим самих себя и свое существование поставивших под сомнение, высокомерно судить "окружение" наше за примитивную, как нам кажется, жизнь и отсутствие мысли. Одно я знаю теперь твердо: они, животные, рыбы и растения, кого мы жрем и губим с презрением за их "неразумность", – без нас просуществовали бы на земле без страха за свое будущее, а вот мы без них не сможем. Но быть может, ты уже со своей бригадой вытряхнул из трала добычу, равнодушно присолил ее, стаскал в трюмы я лежишь на своей коечке-качалочке, убитый сном иль перемогая нытье в поясище и натруженных руках, думаешь о своей повести и проклинаешь меня: была ведь повесть-то одобрена в журнале "Дальний Восток", ее давно бы напечатали в Хабаровске и, знаю я, и похвалили бы за "достоверность материала", за "суровое, неприукрашенное изображение труда рыбаков", даже и прототипа одного или двух, глядишь, угадали, и в Москве переиздали бы книжку... Эвон как хорошо все началось-то! Дуй смело вторую повесть, протаривай путь к третьей, вступай в члены союза, высаживайся на берег и живи себе спокойно, пописывай, плоди и плодись. Отчего-то ваш брат с беспокойного-то места, под названием МОРЕ, мечтает о покое, а наш брат, сидящий на безмятежном берегу, все "ищет бури, как будто в бурях есть покой"?! Значит, ты уж совсем было достиг желанного, покойного берега, и тут меня черти подсунули. Они, они, клятые. Они и горами качают, они и судьбами нашими играют, мухлюя нагло, как Ноздрев при сражении в шашки. Бог себе такого позволить не может, Бог – он добрый, степенный, ходит босиком по облакам, Он высоко и далеко, Его не видно и не слышно. А враг-искуситель всегда рядом. Я вот пошевелил босой ногой под столом, он за пятку меня хватать! "Пиши, – похихикивает, – пиши! Посеял парню смуту в сердце, расшевелил в нем творческий зуд, теперь вот еще и посоли, живого, как он только что селедку или хилую рыбешку, под названием килька, присолил..." Впрочем, килька – это не у вас, это вроде уж на Каспийском море, да и той, говорят, скоро не станет, гоняются за нею всем касрыбкилькахолодфлотом, дочерпывают – много за той махонькой рыбкой народу спасается и кормится, есть которые с отдельными катерами – для прогулок, с дачами в гирле Волги, где лотосы цветут, с дежурной машиной у подъезда. Да-а, а рыбка-то плавает по дну... Ты клянешь меня или нет? По последнему письму видно – сдерживаешься изо всех сил, чтоб печатно не обляять. А мне хоб что! Я вот за письменным столом, в тепле сижу, за окном морозное солнце светит, крошится в стеклах лучи его, на тополе ворона от мороза нахохлилась, смотрит на меня, как древний монах, с мрачной мудростью: "Все пишешь?! Людей смущаешь? Читал бы лучше. Книг вон сколько хороших написано, да „не сделали пользы пером, дураков не убавим в России, а на умных тоску наведем“. Накрошил бы лучше хлеба в кормушку синичкам, я бы его у них отнял и съела. Вот тебе и матерьял для размышлений о противоречиях мироздания..." А пишу-то я тебе не с бухты-барухты, не для того, чтобы развеять твою скучную жизнь в пустынном океане. Ты хоть помнишь, как мы познакомились? Непременно надо вспомнить, иначе все мое письмо к тебе

Астафьев Виктор Петрович Тельняшка с Тихого океана astafevvictor.ru будет непонятным, да и ненужным. Вот уж воистину не было бы счастья, да несчастье помогло! Погода, точнее, отсутствие таковой, заклинила движение в отдаленном восточном порту. Народу, как всегда, скопище, еда и вода кончились, нужники работают с перегрузкой и один уже вышел из строя; всякое начальство и даже милиция с глаз исчезли – такое уж свойство у нашей obsługi: как все ладно и хорошо – делать хорошее еще лучше, как плохо – улизнуть от греха подальше, все одно не поправить... Я стоял среди унылого, истомившегося народа, опершись на "предмет симуляции" – так я называю палку с набалдашником, выданную мне еще в сорок четвертом году в арзамасском госпитале и суеверно мною берегомую, – износил уже, истерзал, разбил девять протезов, но палка все та же. От времени, от моей руки, моего тепла и пота она почернела. Вспомнился мне вот, в связи с палкой, чиновничек-международник. В Дом творчества писателей он затесался "для разнообразия", решил выдать миру книгу на международную тему. Этакий типичный пижон современности, изнывающий в нашем бедном Доме с порванным на миллиарде сукном, со скользким от растоптанной селедки полом в комнате, с убогой библиотекой и по-иностранному хрипящей кинопередвижкой. Пожаловал он в писательское сообщество со своим кием в чехольчике из змеиной кожи, со "своей" девочкой из института иностранных языков, со своим коньяком и рюмкой, надетой вроде колпака на черную бутылку. Ясновельможная личность отчего-то обратила внимание на мою инвалидную палку и заключила, что она из экзотического заморского дерева. "Да-да, из дерева, арзамасского", – подтвердил я, и поскольку дитя, выросшее на ниве рабоче-крестьянского государства, не знало и не знает, где находится Арзамас, оно, красиво вскинув модно стриженную голову и многоумно закотив глаза, начало мыслить: "Постойте, постойте! Это не из Бисау ли?" – "Да-да, Арзамас как раз на правом берегу Теши, супротив этого самого Бисау располагается". Давно собирался написать я рассказ о своей палке, да вот не о ней, о тельняшке, которую ты мне подарил, пришла пора поведать миру. "О чем писать, на то не наша воля", – сказал один хороший поэт. Для нас, много литературной каши исхлебавших, сказал, но не для графоманов. Те пишут запросто, хоть про Демона-искусителя, хоть про Делона-артиста, хоть про жизнь Распутина (не Валентина, слава Богу, а Григория), хоть про дореволюционную политическую ссылку, хоть про современных мещан, морально разлагающихся на дачах. Итак, значит, я стоял, налегши на здоровую, но уже онемелую, горящую от натуги ногу, в то время когда ты мирно спал, доверчиво навалившись на плечо, как позднее выяснилось, совершенно незнакомой девушке, сронившей шапку-финку к ногам, во сне растрепанной, некрасиво открывшей рот от духоты. От моего ли взгляда, но скорее по другой причине ты проснулся, обвел мутным взглядом публику и вокзал с отпотевшими от дыхания и спертого воздуха стеклами, с волдырями капель на потолке, под которым деловито чирикали и роняли вниз серый помет ко всем и везде одинаково дружелюбные воробьи. Ты уже хотел передернуть плечами, потянуться, молодецки расправиться, как обнаружил, что к тебе родственно прикинула девушка, довольно-таки стильно одетая, осторожно отстранился, прислонил ее к стене, поднял шапку-финку, хлопнул о колено, насунул соседке почти на нос, поискал что-то глазами и сразу увидел искомое, меня стало быть. "Посиди, дяхан, – буркнул, – на моем месте, я в уборную схожу". Назвав тебя в благодарность племянничком, я со стоном облегчения опустился на низкую отопительную батарею, сверху прикрытую отполированной доской. Для красоты, надо понимать. Ты вернулся, остановился против меня и долго ничего не говорил. – Ну и как же нам быть? – буркнул наконец, глядя в сторону. – Ведь ты моряк, братишка, я – бывший пехотинец, все мы простые советские люди, и жить, стало быть, нам надобно по-братски; ты посидел и поспал, теперь я посижу и поплюю. – Тебе ж ногу оттопчут. – О ноге не беспокойся, новую выдадут, в казенном месте и за счет казны. У этой нонче как раз срок выходит... Ширинку бы застегнул, братишка! Не ровен час, скворец улетит, або девки у него с чириканьем крылья оторвут... – Ой! – прихлопнул ты "скворечню" и, отвернувшись, задергал застезку, цедя сквозь зубы: – Напридумывали эти "молнии". В этом вот смущенном "ой!" и в том, что ты клял цивилизацию, заменившую пуговицы на механизм, было много родственного. Не раз и не два шествовал я в новомодных брюках в общественных местах с раздернутой "молнией", не один позор нравственного порядка пережил, поминая добрым тихим словом старушку-пуговицу. Бывало, пройдешься, как по баяну, – музыка, лад, и все на месте. Цивилизация, стремительно овладевая нами, не отпускает времени на привыкание к ней. Проснулась и девица, пощупала шапку, вбила под нее волосы, еще чего-то поправила и уставилась на тебя: "Эй, моряк, ты слишком долго плавал?" – "Слишком". – "Значит, знаешь, где тут туалет?" – "Знаю. Но работает лишь мужской. Дамы бегают по клумбам и в кусты..." – "Хорошо, хоть кустарники не погибли при таком обильном увлажнении", – зевнула девушка и приказала тебе караулить место Под задом соседки, на доске обнаружилась во всю ширь раскрытый последний выпуск "Роман-газеты" с моим произведением. Ты сел на место девушки и

Астафьев Виктор Петрович Тельняшка с Тихого океана astafevvictor.ru начал неохотно листать "Роман-газету". У меня не было сил даже на ужас, что охватывает меня всякий раз, когда я вижу при мне читаемые мои шедевры. Случалось это всего раза четыре за жизнь. Еще "в начале моего творческого пути" увидел я однажды, как читали мою книжку в электричке, и сразу со страху меня прошиб пот, объяло меня чувство казнимого старым способом еретика, под задом вроде бы затлели угли, и, чтоб их не раздуло в пламень, перешел я, от греха подальше, в другой вагон. И потом при встречах со своими творениями бывали у меня возможности вовремя смыться. Но однажды попал так попал! В самолете сидит сбоку тетка и, как ни в чем не бывало, почитывает мою книжку. Я их, свои книжки, узнаю сразу оттого, что на обложке каждой рисуют мне художники лесину, чаще всего ель, поскольку родился я в таежном краю. По ели, значит, и ориентируюсь в книжной тайге. Из самолета не выпрыгнешь! Свободных мест нигде нету, тетка, как на грех, глазастая да интеллектуальная оказалась: шасть ко мне с французским изящным карандашиком: "Ой, простите, пожалуйста, автографик..." Я чего-то пытался сказать и написать шутовское, народ ближний начал озираться, перешептываться. Какие уж тут шутки! А, боже милостивый! Недаром же до слез, до рыданий люблю я романс Гурилева "Вам не понять моей печали...", как и этого моего душевного смятения не понять никому. Моя книга в чужих руках, "на свету" кажется мне до жути глупой, неумелой, постыдной. Читали бы Толстого, Пушкина, Достоевского, Бунина... За что же меня-то?! Но тогда, на аэровокзале, повторяю, у меня уже не было сил ни на какие эмоции. Поспал я недолго и тяжело. В вокзале еще больше скопилось народу, еще гуще сделался в нем воздух, он превратился в клей, в вазелин, в солидол или во что-то еще такое, чем смазывают железные части и механизмы, защищая их от ржавчины, от излишнего трения. И я был весь в клейком мазуте, сердце мое дергалось в горле, руки дрожали, один лишь протез, защищенный с двух сторон – портфелем и чемоданом, лежал на полу недвижно и отчужденно. Задравшиеся штаны оголили на нем две пластинки из нержавеющей стали. Я достал штанину палкой и натренированно накрыл гачей протез. Вы оба с настороженным любопытством смотрели на меня. Я догадался, в чем дело, и, когда девушка сунула мне "Роман-газету" под нос, показывая на мою давнюю, огалстученную фотографию, спросила: "Это – вы?!" – я отстранил руку с книжкой. – Я! Не похож? Старее! – Ну вот, а ты спорила!.. – подавленно, почти разбито выдохнул ты и вдруг резко, с одного поворота: – Сейчас я пойду! Сейчас я им скажу! Над писателем... Над инвалидом войны глумиться!.. – Да кто глумится-то? – поднимаясь, сказал я буднично. – Господь Бог? Это Он нелетную погоду сотворил. И при чем тут писатель, инвалид? Все люди, все человеки, и инвалидов на вокзале небось десятки собрались... Раз моряк, покажи-ка лучше где-нибудь воду какую-нибудь. – Как вы так можете? Вам же тяжело... – А кому, братишка, легко? Бывало и тяжелее... Не бери в голову, как говорят нынче. Когда мы попили из горного ручья сладкой, голубой в пузырьках воды, умылись, отдышались и я, посмотрев на полыхающие осенним, ярким пожарищем клены, на красной лавой облитые хребты, на засиневшее за ним дальше и выше безгрешно-чистое небо в кружевной прошве по краям, выдохнул: "Хорошо-то как! – и, обернувшись к тебе, сказал: – Вот как мало надо человеку для счастья!.." – ты все это тоже обвел взглядом: склоны, горы, небо и угрюмо предложил: "Я позову ту мадаму и перенесу манатки, ладно?" Ах, какой это был день! Упоительный, правда? И хорошо, что не сразу, не вдруг ты мне признался, что пытаешься заниматься этим проклятым и самым, в моем рассуждении, захватывающим делом – литературой. Хорошо, что была девушка по имени Люда, такая потом умытая, свеженькая, рыженькая, глаза в солдатскую ложку, и как за катит их в бок – яркая, аж спит, фарфоровая бель с блеском. Лицо вытянутое, недозавершенное вроде бы, но в этой-то недозавершенности вся и прелесть, полюбишь – и завершай, воображай, дописывай, лепи – есть место для работы и уму, и сердцу. Признаюсь тебе: мне всегда такие вот, вроде бы неладные и нескладные, не вовсе, не до конца сложенные лица нравились нестандартностью своей. Круглолицые красотки со вздернутыми носиками и аленьким, пухлым ртом – мечта и вождение советского офицера да директора трикотажной фабрики – не по мне. Быть может, воображение сделало мой вкус изощренней, точнее – испорченней. Но может статься, и оттого, что до офицера я так и не дорос, остался на веки вечные чину неблагодарного и во все времена презренного – рядовым. Потому и "красотки" не по чину мне, потому и выдумываю, доделываю лица, отгадываю души смятенные, тайные, порой, и чаще всего, тайные только для меня. Любовь – это творчество. Всегда творчество. Мы любим в других то, чего нет в нас, если нет этого и в других – выдумываем, внедряем, делаем людей лучше, чем они есть на самом деле. Увы, женщинам, сотворенным нами и с помощью нашей, начинает казаться, и не так уж редко, что они и были всегда такими, совершенными, и не понимают, что любящая душа отдала ей все, что имела, опустошившись при этом и не обогатившись ответно. Обогащение души одной другою, переливание крови из сердца в сердце – редкое явление, и потому так часто и быстро истощается, иссякает энергия великого и пресветлого чувства. Говорят,

Астафьев Виктор Петрович Тельняшка с Тихого океана astafevvictor.ru хотя и старомодно, но точно: сердце ее (или его) сгорело от любви. И вот, значит, я тогда маленько, чуть-чуть подзаял тепла у молодого девичьего сердца, но оно так горячо и сильно, что девушка не заметила "утечки", она просто чувствовала, что нравится, и ей нравилось нравиться. Ты почему-то не влюбился в Людочку? Видно, женщины идут у тебя по морской классификации. И я, знающий уж вроде бы пишущую братию, не вдруг догадался, отчего интерес твой возрастал не к девушке, а ко мне, и, по мере того как распогоживалось небо и все чаще и чаще гудели аэропланы над головой, делался ко мне внимательней. Повторяю: это был чудесный день в моей жизни, день яркой дальневосточной осени, который, поверь мне, много свету повидавшему, сравнивать не с чем. Люда была весела, категорично-хозяйственна и говорлива. Ей прескучило общество учителей поселковой средней школы, все люди казались девушке значительными, содержательными, и мы тоже. Она много читала, даже что-то спела. И знаешь отчего? Да просто Людочке не с кем было поделиться тем богатством, которое она приобрела не очень-то легким трудом. Просто так ей давался лишь некий налет иронии и переутомленности интеллектом. Но на "этом уровне" сейчас работают многие молодые люди, однако она-то, самая видать интеллектуальная учительша в своей школе, этого не знала. Ах ты, Боже ты мой, как, омывшись в ручье и с моего позволения оставшись в самом последнем прикрытии тела – закаленная, свободная, смелая! – в купальнике цвета неба с косыми белыми полосками на груди, коим надлежало изображать волну, и волна еще получалась на гибком ее теле, хорошо развитом, – как она, взобравшись на камень, из расщелины которого рос клен детсадовского возраста, обвешанный праздничными флажками, лопушистый, доверчивый, и поглаживая его, будто родное, долгожданное дитя, вскинув руку, кричала, вот именно кричала, звонко и страстно: "лесом мы шли по тропинке единственной в поздний и сумрачный час. Я посмотрел: запад с дрожью таинственной. Гас. Что-то хотелось сказать на прощание – сердца не понял никто; что же сказать про его обмирание? Что? Думы ли реют, тревожно несвязные, плачет ли сердце в груди, – скоро повысыплют звезды алмазные. Жди!" Девочка, девочка! Как она хотела в ту минуту, чтобы ее любили, чтоб нашелся кто-то, кто увидел бы, как она прекрасна, умна, целомудрена и какой восторг жизни раздирает ее грудь... Не знаю чем, но с молодости, с бедной моей, инвалидной молодости я каким-то образом всеял бесовство в девушек, всегда они при мне хотели выглядеть способными на высокое чувство и всепрощение. А ведь я ничего не делал для этого, просто внимательно слушал, смотрел на них без мужского высокомерия, иногда у меня наворачивались слезы на глаза от жалости к себе, они думали – к ним, словом, какое-то во мне "демонское стреляние" угадывали. Наверное, это и есть мой единственный талант, "тайна его", высокопарно говоря. Но бывало и так, что бабы и девки, потерянные, грязные, запущенные, говорили, даже кричали, о том, что ненавидят меня. Я и тут их понимаю. Я многое начал понимать, мой молодой друг, а это всегда опасно. Писателю надо больше чувствовать, но понимать необязательно, его понимание равносильно убийственному: "Музыку я разъял, как труп", но людям-то не труп нужен, музыка, тайна нужна, и хорошо бы хоть немножко жутковатая. Полагаю, что как раз вот этого – тайны или предчувствия ее – и недостает не только твоей повести, но и всем произведениям твоих сверстников, в особенности современной лирике. Вы часто пишете по поводу любовных дел, раздеваете ее, любовь-то, уподобляясь современным киношникам, которые простодушно объясняют, что убивают в кино не насовсем, страдают и любят понарошке, дома и подсолнухи нарисованы на картоне. Результат такой работы уже есть – они потеряли зрителя. Любовь, в особенности таинство ее, надо пытаться отгадывать с читателем вместе, и страдать, и болеть вместе с ним, и мучиться, но вот мучиться-то по отдельности вечной мукой, до конца не отгадавши, опять не отгадавши вечную тайну. Отравно-сладкая мука любви – самая высокая награда человеку, всегда нуждающемуся в наряде, в празднике, в украшении его жизни, деяний, мыслей, чувств, бытия его. "Нет мгновений кратких и напрасных – доверяйся сердцу и глазам. В этот час там тихо светит праздник, слава Богу, неподвластный нам" – это стонет и восторгается наш современник. А вот послушай-ка древнего поэта: "И мира нет – и нет нигде врагов; страшусь – надеюсь, стыну – и пылаю, в пыли влачусь – и в небесах витаю, всем в мире чужд – и мир обнять готов. У ней в плену, неволи я не знаю; мной не хотят владеть, а гнет суров; амур не губит и не рвет оков; а жизни нет конца, и мукам – краю. Я зряч – без глаз; нем – вопли испускаю; я жажду гибели – спасти молю; себе постыл – и всех других люблю; страдаю жив, со смехом я – рыдаю; и смерть, и жизнь – с тоскою прокляты; и этому виной – о Донна, ты!" – а это исторгнуто из могучего сердца, по-могучему и страдавшего великим чувством более шестисот лет назад. Крестьянский сын, окопный солдат, вернувшись с фронта, я рыдал над этими строчками, ничего в них не понимая, но за что-то боясь, чем вбивал в панику любимую сестру, которая думала, что я натер протезом ногу и ноге больно. Мне сдается, не от любви, не от жажды прекрасного: "О, господи! Дай жгучего

Астафьев Виктор Петрович Тельняшка с Тихого океана astafevvictor.ru страдания!" – а от натертостей, от трудовых мозолей на теле в ваших сочинениях вам больнее, чем от сердечных мук, и вы их, мозоли, телесную боль чувствуете, не чувствуете, а вот именно чувствуете и цените выше каких-то там глупостей, вроде: "Бей меня, режь меня..." или: "Мне б надо вас возненавидеть, а я, безумец, вас люблю..." А ведь все это живому сердцу нужно, как электроэнергия в квартире, как солярка дизелю, как крылья самолету. Самому тонкому, самому ранимому, самому капризному органу из всех, какие поместил в нас Господь Бог, всегда нужна движущая сила. Оно, сердце, помучит, но и научит нас понимать, что пока еще не все продается, что покупается, что счастье нищего поэта и по сей день дороже всего "злата" завмага "универсама". Не я так думаю, время так думает – самый непреклонный диктатор, и, если вы не посчитаетесь с ним, время сотрет, смоев вас и вы поодиночке остынете в коробках панельных домов, на куче злободневных книг про БАМ, тюменскую нефть и тихоокеанскую селедку. Вас никто не только не оплатит, но даже бесплатно на кладбище не свезет, родичи воспользуются вашим имуществом, юркие книголюбы разворуют вашу личную библиотеку... Ах, как мне тогда хотелось, чтоб ты полюбовался Людочкой, порадовался ее порыву к головокружительному полету, когда женщина на все готова и никогда не сожалеет потом о свершенных глупостях. Но ты отчего-то сердито пластал ножом консервные банки, резал хлеб, полоскал в ручье помидоры, огурцы, остужал поставленную в воду "злодейку", и я помню, как отмочило с бутылки наклейку, завертело, понесло куда-то слово "водка", и успел еще подумать: "Унесло бы ее, заразу, от нас куда-нибудь навсегда" – это было задолго до постановления о борьбе с алкоголизмом, поэтому не подумай, что я подлаживаюсь под злободневность. Гуще залетали самолеты. Мы задирали головы и согласно утверждали: "Не на-а-аш!.." Как хорошо было там, возле голубого, пенистого, холодного ручья, вырывающегося из раскаленных высоких гор. Как хорошо! И водочки маленько – не помешало, и горный воздух пьянящ был от горечи увядания, и некая сомлелость рассудка. Даже я наярив свою память, и мне, старому грешнику, тоже захотелось кого-нибудь порадовать и даже очаровать, я забыл про свой протез, про седины, и по сей час мне отчего-то не стыдно того глупого забвенья. "Зачем ты чаек приручаешь над белой отмелью тужить. Уйдешь, хоть в них души не чаешь, а птицам дальше надо жить. Кому оставишь на поруки, под чью заботу или власть?.. Еще так просто в злые руки им где-то за морем попасть". Ну ладно, довольно. Сейчас я тебе напомним, как мы прощались. Людочка вдруг присмирела, ужалась, несчастненькая сделалась и сразу подурнела, а я все повторял и повторял, как остроумный дундук на деревенской вечерке: "Людочка! Держи хвост пистолетом!" О боже! До чего же близко лежат глупости! И много их! Берешь, берешь, потребляешь, потребляешь, они все не убывают. "Ладно, буду", – трясла головой Людочка, тайно засунув в карман моего плаща маленькую руку, "тайно", с каким-то ей лишь понятным смыслом потискивая мои пальцы. У выхода она обняла меня совсем некрепкими, совсем немускулистыми, слабыми женскими руками и по-женски же, беззащитно, с неизбывной бабьей печалью, молвила: "Спасибо вам, Вячеслав Степанович! Это был самый лучший день в моей жизни! Самый-самый!.." С трудом сдерживаясь, потупившись, я привычно съерничал: не мне, мол, Министерству гражданской авиации надо говорить спасибо. "Не надо, Вячеслав Степанович!" – попросила Людочка жалобно и ушла на свое место, туда, на батарею, прикрытую полированной доской, на которой лежала моя жалкая повесть, печальнее которой в ту минуту и в самом деле для меня не было на свете. Я презирал, ненавидел и себя, и книгу свою. И когда Людочка закрыла лицо широкими серыми, что солдатская портянка, страницами "Роман-газеты", мне захотелось броситься, выхватить, изорвать в клочья бумажное изделие. Но ты удержал меня, указав кивком головы на последних пассажиров, выходящих из "накопителя" (слово-то, слово какое! Ей-богу, правда, что слово есть лицо своего времени, но слова могут быть – мордой своего времени, это слово – мурло его), – и тут ты мне сунул полиэтиленовый кулек с нарисованными на нем окунями, зелеными, полосатыми, дородными окунями, какие в наших внутренних водоемах давно вывелись. Вместо них шныряют и на все клюют "вшивии", "хунвэйбины", "бичи" – как их именуют нынешние рыбаки, уже в школьном возрасте "половозрелые", икряные, – сунул, значит, кулек и, отвернувшись, пробубнил: "Вячеслав Степанович, дайте слово, что не заглянете в пакет до дома". Я дал слово. Чего ж не дать-то? Я тоже сын своего времени. Дал и тут же забыл – эко диво! И не только забыл – нарушил его. Уселся в самолет, устроился поудобней – и нарушил. Вот если б ты не брал с меня слова, мне бы и соблазна не было нарушать его. Я бы и не заглянул в тот куль до дома, возможно, и дома, сдавши его на руки жене, не заглянул бы. Мы долго сидели в Чите. И вот там, в Чите, я и решил отослать твой куль обратно, со злой припиской: "В следующий раз присылай одну икру". Идея не моя. Я упер ее. В одно парижское издательство какой-то кондитер повадился присылать свои толстенные рукописи и к ним обязательно прилагал коробку дорогих конфет. Находчивые парижские издатели написали автору, чтоб в следующий раз он присылал только конфеты. У тебя нету

Астафьев Виктор Петрович Тельняшка с Тихого океана astafevvictor.ru конфет дорогих, и ты приложил к рукописи три баночки икры – "сами не едим, зато дарим", – говорил один дальневосточник про эту злосчастную икру, которую, когда ее было много, не покупали даже по дешевке. У меня есть любимая племянница, и я подумал, что, может быть, ей, всесторонне одаренной не только аллергией, головокружением, течью крови из носа, но и художественными способностями, захочется солёного, наладится у нее аппетит, и здоровье ее пойдет на поправку, да еще к рукописи была приложена тельняшка, она отчего-то меня умилила, что-то во мне струнула, растревожила, но что – я долго не мог понять. Ты, наверное, обратил внимание на якорь, наколотый на моей левой руке – это дань поветрию тридцатых – мы все тогда в детстве мечтали сделаться моряками, пограничниками, командирами. Чуть повыше якоря досе белеют пятна – это меня заживо жгли накаленным гвоздем, чтоб привыкал к боли и, если на войне меня, раненого, в бессознательном состоянии, возьмут в плен фашисты, терпел бы и "никого не выдал". Мы по битому стеклу ходили босиком, волосья друг у дружки выдирали, пальцы меж досок плющили, иголки патефонные ели, в ледяной воде, еще в заберегах, купались, сутками хлеба не потребляли, воду не пили, чтоб "закалиться", чтоб на случай битв с врагами стойкость и непреклонность выработать. Смешно? Забавно? Не очень. После того как, улучшая позиции, мы на половину России выпрямили линию фронта, потеряли технику – нашим главным и неизменным оружием была стойкость. И ей, прежде всего ей, мы обязаны Победой. Вот так, мой молодой друг – моряк, который слишком долго плавал, а мне, несмотря на якорь, любая лужа в диковину, я и море-то увидел совсем недавно, в круизе, вокруг Европы оборачиваясь в качестве туриста. Может, встречал у Ковинько, "шо з Полтавы?": "Одно дурнэ проехало в турнэ, вернулось из турнэ все тэ ж дурнэ!" И вот приели мы всей родней икру, – племяннице ее есть не рекомендуется; прочел я твою рукопись вместе с десятком таких же, чисто, даже хлестко, писанных, и тельняшку к себе "приносил" – я прочно прирастаю к вещам, и они ко мне тоже, но все что-то не отстаёт, тревожит меня. В длинном письме, отосланном вместе с рукописью, благодаря тебя, не за рукопись, за икру и за тельняшку, я тебе писал, что это первая тельняшка в моей жизни, но я впал в непростительную забывчивость и в черную неблагодарность – "маразм крепчал!" – как верно переиначили наши современники юмориста, "шо з Таганрога" – Антона Павловича Чехова. Чтобы рассказывать дальше, мне придется припомнить свою биографию, совсем необременительную, а то ведь ваш брат нынче наших "биографиев" не читает, сразу заглядывает в конец книги, подсчитывает количество листов, тираж и сколько автор отхватил гонорару. Так вот. Детство мое прошло в заполярной ссылке. Не я был в ссылке, мои деревенские родители, ну и колы у них не было моды оставлять детей в роддомах, Домах ребенка и детдомах, то они прихватили нас, пятерых детей, с собою – в качестве обременительного багажа – более у них никакого имущества не было. Отец мой был физически здоровым, крепким мужиком, и его за все за это поставили на выкатку леса с зимней реки, проще говоря: с бригадой таких же здоровенных мужиков он выдалбливал вмерзшие в лед плоты и вывозил их на берег, к заводилку с железной трубой, где одышливая машина, соря опилками, превращала лес в доски, в брусья и шпалы. Отец не раз падал в воду, простудился, заболел цингой и умер. Мать у нас была деревенская, белая ликом и выдающаяся статью, красавица. Бог поступил с нею так же, как и со многими красивыми людьми, – наделяя их красотой, он больше ничего к этому не добавил, считая, что для человеческого счастья и безбедного существования и этого вполне достаточно, ум пригодится и некрасивым, Бог – это вам не заведующий закрытого ларька, он все делит меж чад своих по справедливости, но не по занимаемой ими должности. Безвольная, на ногу не скорая, умом вялая и, хотя и деревенская, по дому почти ничего не умеющая, привыкшая жить за спиной родителей и мужа своего, без ума ее любившего, мама моя растерялась, упала духом, стала опускаться, гулять и даже попивать. Нас троих, младшеньких, весной посадили на пароход и отвезли в областной город, в детдом. Двое старших парней уже работали и скоро, один за другим, поступили учиться на военные курсы, затем снизошла на них милость, разрешено им было служить в армии, откуда они уже не вернулись, сделавшись кадровыми военными. Войну они встретили в чинах, правда небольших, и погибли на фронте в первых же боях. Нас троих в детдоме почему-то разделили, наверное, не хватало мест, и я потерял из виду своих двух сестренок. Навсегда. Мать наша тем временем не раз сходилась с мужчинами, наконец "вышла замуж" и, винясь перед нами, что ли, стала искать своих детей, и нашла меня, самого младшего, и у нее хватило ума вытянуть меня из детдома. У меня хватило того же, мамино, недлинного, ума – оставить детдом и податься на зов родителей. Новых! Устроена была моя мама в станке Карасино хорошо, в хорошем доме, точнее, в половине его, к магазину пристроенном. Муж ее, пан Стас, по происхождению поляк, работал продавцом в магазине, но именовал себя завмагом и завскладом, потому как летней порой принимал от рыболовецких бригад рыбу, карасинцы под его руководством обрабатывали ее и отправляли на городской

Астафьев Виктор Петрович Тельняшка с Тихого океана astafevvictor.ru
рыбозавод. Пан Стас был сухопар, строг, подчеркнута честен, картинно, как и все поляки, патриотичен, ничего не присваивал, не воровал, да ему и воровать ничего не надо было – все находилось "под рукой", все почти "свое", даже и ребенок свой появился – моя новая и, как оказалось после, вечная сестренка Зоська. Ей шел седьмой годик. Девчонка, разодетая будто куколка, росла резвая, сытенная, общительная, и я сразу привязался к ней, а она ко мне. Так и до сих пор. Нет уже мамы, да и пан Стас далече. Зоська же – самая родная душа – осталась со мной навсегда. Спасибо маме и пану Стасу хоть за нее. Почему-то меня поместили спать на чердаке, среди магазинного хлама и ломи ящиков. Дали потник, подушку в серой наволочке, старое, еще в отцовской деревне стеженное одеяло, пропахшее мочой и потом. Мне, привыкшему к казенной койке, к полосатому матрацу, к постели с двумя простынями, с чистой подушкой, пусть и стружками набитой, показалось это не то чтоб обидным, но как-то вот задело меня, вроде как я скотина какая и стойло мне отдельное определено. Среди лета на чердаке начали жучить меня комары, я расчесал тело, и пан Стас запретил мне общаться с Зоськой, помогать ему на складе и в работе на рыбоделе, потому как я "есть чесоточный", и, пока не вылечусь, мажась дегтем, "до общественного труда и дзецка пущен быть не могу". Тогда я и познал, что такое быть шелудивым, усвоил смысл жестокой поговорки: "Паршивую птицу и в стае клюют". А я ведь уже беспризорной воли хватил, детдомовщины, строптив, зол и упрям был. Чувство бросовости моей и одиночество толкнули меня на неблагоприятные "поступки" – я закурил, попробовал вина с разделочницами рыбы, расстегнул до пупа рубаху, плевал через губу, говорил по-блатному, пришепывая, стал называть пана Стаса пренебрежительно – Стасыч, ругал его словами, у него же перенятыми: "пся крев, сакраментска потвора". Мать вообще в "упор не видел", презирал ее открыто, на всех сельдючат смотрел с вызовом, и, когда карасинские парнишки неизвестно за что и почему решили меня отлупить, я, сузив глаза до беспощадности кинжального лезвия, показал им кончик палочки из кармана, будто ручку ножа, вынутого из патронташа пана Стаса, и заявил, что если хоть одно шалавое карасинское быдло тронет меня пальцем – припорю пару сельдюков и сожгу их вшивые хавиры. Нагнал я страху на мирное карасинское население. Ребятишки, идущие встречу мне, перебежали на другую сторону улицы, прятались за углы стаяк, меня даже за молоком для Зоськи не посылали. При моем появлении матери-сельдючихи хватали своих неразумных сельдючат и по-капалушьи, героически прикрывая их юбками и телами, поскорее уносили в жилище. Ни единой живой души в станке Карасино, кроме малой Зоськи, "за меня" не было. Особенно люто меня ненавидел, дразнил, высмеивал Мишка Еремеев. Мой неожиданный папуля – пан Стас был тому виной: тетка Мишки Еремеева, у которой воспитывался и жил Мишка, где-то и как-то потерявший родителей, "служила" в магазине уборщицей и прирабатывала на прокорм себе и детям на разделке рыбы. Рожденная от русского отца и карасинской сельдючихи, родословная которой в совсем близком колене упиралась в местных инородцев: косолапая, почти безбровая, с узенькими щелками глаз на круглом и желтом лице, с провисшим животом и жидкой грудью – где могла устоять она против пышнотелой моей мамы?! Пан Стас был разборчивый сладкоежка и как "мобилизовал" мою маму из города "до Карасино", Еремееху с должности согнал, перестал ее замечать, а у Еремеехи-то четверо своих да пятый Мишка – в придачу. Муж – обыкновенный местный рыбак в колхозной бригаде, весом килограммов сорока и росту около полутора метров. Пил, конечно, как и все здешние трудяги, "до упору" – ребятишки, случалось, неделями питались одной рыбой. Что такое есть одну рыбу, которая уж через неделю становится безвкусна, как трава, – не мне тебе, половину земного срока проболтавшегося "на рыбе", объяснять. Мама моя хоть и была "на должности", однако никаким делом не занималась, убирали в магазине за нее сельдюшки из рыбобдела, когда она ходила на сносях – обихаживали и дом, да так это в "паньстве великовельможном" и закрепилось: мама жила панной, ничего не делала, занималась лишь собой и ребенком, которого, впрочем, тоже часто смекала сбуть мне. Ходила моя мама по серому станку, среди серого народа разряженная, помолодевшая, какая-то совсем не здешняя, даже и мне незнакомая, играла на патефоне пластинки, выучила с них несколько городских песен "изячного" содержания: "Наш уголок нам никогда не те-е-есе-ен, когда ты в не-ом, то в нем цветет весна, не ух-хо-о-оди-и-и...", – стала говорить: "знаици-пониаици", "но это ж же смешно-о!" или, наоборот, – "божественно", "бесподобно", и все домогалась: "Слав! Слав! Скажи, какую книжку про культуру почитать?.."
Культурное ее развитие набирало стремительный разбег. Пан Стас научил жену пользоваться ножом и вилкой, отдельными тарелками для всех, по праздничным, торжественным дням – салфетками. Мама пыжилась и сражала наповал карасинское население культурой. Водилось "паньство" только с местной интеллигенцией: председателем и бухгалтером сельсовета, учителем и учительницей, агрономом совхоза и радистом метеостанции. Среди этой своры оказался-таки человек,

Астафьев Виктор Петрович Тельняшка с Тихого океана astafevvictor.ru которого, с натяжкой правда, можно было причислить к "интеллигенции", пусть и технической, – это радист. Человек среднего возраста и для города – средних возможностей, здесь слыл личностью почти выдающейся – владел электроприборами, радио, кинопередвижкой, кое-что почитывал, баловался музыкой – играл на мандолине, заводил патефон, не гробя пружины. Такой ошеломляющей культуры человек не мог не пользоваться восхищением и тайным расположением моей мамы. Пан Стас, в общем-то ничего, кроме шляхетского гонора и выгодной должности не имеющий, дошел в тайной ревности до того, что однажды, во время попойки, встал из-за стола, руки по швам, вытаращил и без того круглые, выпуклые глаза и грянул, сжав кулаки: "Еще Польша не сгинела!.." – аж у всех волосы поднялись, и я думал, что пан Стас когда-нибудь порешит радиста, маму мою и себя вместе с ними. "Повсюду страсти роковые.." – даже в станке Карасино! От них никуда не деться. Народишко, обитавший в сем поселении, мелкий, ничтожный, затурканный "интеллигенцией", лебезил перед моей мамой и паном Стасом, боялся радиста, как древние греки громовержца Зевеса боялись, и выбрал для отмщения посильную жертву – меня. Мишка Еремеев, сухой телом, с тяжелым, как у взрослого мужика, лицом, скулы с кулак величиной, кисти рук жилистые. Скулы, занимавшие основное место, придавали лицу подростка уродливое, каторжное выражение. Там, на лице, было еще что-то: и глаза, голубые вроде бы, и брови, пусть и северные, почти бесцветные, и нос, да вроде бы с горбинкой, еще рот, широкий, всегда мокрый, с обкусанными до болячек губами, но помнились, резали глаз, подавляли все остальное выпуклые кости скул. Я не то чтобы боялся Мишки, но отчего-то виноватым себя перед ним чувствовал и первым пошел с ним на сближение: скараулил возле школы, где он пас на поляне бычка и еще двух голозадых сельдючат – детишек Еремеевых, – я с детдомовским прямодушием протянул ему руку: "Держи лапу, кореш! Будем пасти скотину вместе..." Мишка словно ждал моего этого шага, словно готовился к нему и заранее копил гнев: вскочил с травы, хватанул под мышки двух сельдючат, будто чурки дров, отнес и бросил их за школу, на обратном пути отвесил пинка бычку, да такого, что тот пошатнулся. Прикусив черную болячку и шипя ртом, ноздрями, выдохнул мне в лицо брызги пены: "Барашный в...! Панский кусошник!.. Если ты не sprыснешь со станка, я запорю тебя и мамочку твою – красотку!" Вот тебе и сельдюк! Конечно же все это, кроме кипевшей на Мишкиных губах пены: и гнев его, и угрозы, и слова – выглядело мальчишеством. В детдоме умели рыпаться и повыразительней, но, право слово, я впервые столкнулся с такой, уже выношенной, что ли, затверделой ненавистью. Ну, что мне оставалось делать? Дни и ночи возиться с Зоськой. Сестра моя – человек по складу своему совсем несовременный, человек века этак девятого, времен первокрещения языческой Руси, по отсталости своей еще в младенчестве усекла, что все человечество любить ей не по силам, всех ей не охватить, и выбрала наиболее привычный слабым женщинам путь: любить и жалеть одного человека. И этим человеком оказался я. В Карасине меня дразнили: "Вава, дай ручку!" – я отбрыкивался от Зоськи, гонял ее от себя, родители наказывали ее за то, что она половинку печенинки или надкушенную конфетку таскает, таскает в кулачишке, аж пальцы склеятся. Допросят: "Зачем?" Врать дитя не умеет, и по сию пору не выучилось. "Для Вавы". В ней уже тогда выработался христианский стоицизм и большевистское упрямое стремление к истине, ко всеобщему братству, и каким-то образом не исключали они друг друга, хотя именно так, по передовой, материалистической науке, должно было неизбежно произойти. На улице похолодало, и меня "сняли" с чердака. Каждое утро пан Стас заставлял меня чистить зубы, мыть в ушах, осматривал мои руки, придирчиво занимаясь моей личной гигиеной, гневно торжествовал, если случались по этой линии срывы и упущения, вроде как даже не решался доверить мне драгоценное "дзецко" в белых кудерьках, в цветастом платице, в полосатых носочках и сандаликах с ремешками. Мама говорила так, чтоб слышно было строгому мужу: "Оболтус! Быдло! Зарази только ребенка царапкой, дак живо вылетишь из дому..." Радист научил меня стрелять из ружья, и бывшая без дела двустволка пана Стаса перешла в мое полное владение. Я таскался с ружьем по ближним озерам, губил уток, и они, повалывшись на ларе в кладовке и протухнув, оказывались на свалке, где их расклеивали вороны и растаскивали чайки, – не будет же мама заниматься паскудным бабьим делом – теревить и палить уток. Она валялась на кровати в шелковых чулках, шевеля губами, читала принесенную мной из библиотеки книжку "Тысяча и одна ночь", восклицала с неподдельным, восторженным изумлением: "Бож-же, что на свете делается! Ка-а-акой разврат!.." Ребята-сельдючата прихватили меня в устье речки Карасихи, верстах в трех от станка. Я сидел возле закинутых удочек и караулил гусей – скоро, говорил радист, местный серый гусь станет делать разминки, сбиваться в табуны, "потянет" через песчаную косу, намытую речкой. Тут его можно достать выстрелом из прибрежных кустов. Гусь пока не шел, зато из заполневшей от начавшихся дождей речки, снова промывшей песчаное устье, которое, как и у многих северных рек, перехватывало летами, и речка усмирлялась, зарастала, превращалась во множество

Астафьев Виктор Петрович Тельняшка с Тихого океана astafevvictor.ru
узких озерин – этаких теплых, кормных и удобных водоемов для утиных выводков и для сорной рыбы, вот и выметывала Карасиха в Енисей накопленное за лето добро: окуней, надменных и сытых, ожиревшего язя, ленивую сорогу – и вместе с ними катила, будто тугие мячики, выводки матерющей, на крыло встающей черняти, гоголей, серух, чирков, широконосок. Привыкшие к застойной воде, к безопасному, заглушному месту, несомые течением, жирные утки даже не греблись лапами, лишь весело крикали: "А-а, милья! Несет куда-то! Плыдем сами собой! А свету! Свету!.." Я почти беспрестанно поднимал гнущееся от тяжести сырое удилице и волок по воде, будто жена пьяного бухгалтера, круглого, жирного, что поросенок, язя или яркоперого, воинственно ощетиленного окуня. Сразу же подвалили в устье речки на охоту щуки и таймени. Щучины, завязывая узлы, бросались на жертву, и видно было, как, схватив сорожину поперек тела, хищница неуловимыми движениями, соря чешуей, разворачивала ее на ход головой, чтоб затем через зубастый рот отправить во чрево, и смотрела на меня из глубин, точно черт на святки через оконное стекло сатанинским взглядом. Постой, погоди, дескать, и до тебя доберуся... Таймени, те хулиганили, будто приезжие трактористы в колхозном клубе, ходили нарастопашку поверху, пластали воду красными наспинными плавниками и хлопали яркими мощными хвостами, будто пароходными красными плицами, вбивая в оцепененье и оглушая жертву, перед тем как ею овладеть и выкушать ее. Я соображал насчет того, чтоб взять у радиста крепкого провода, крупных крючков, соорудить что-то вроде жерлицы, выволочь таймешат, если повезет – и самого атамана, продать рыбу на пароходы и купить себе обувь. Пан Стас гигиену-то блюдет, руки тщательно осматривает, но вот что ботинки, выданные мне еще в детдоме, развалились – никак не заметит. Мама моя, та вообще отдалилась от дел мирских – так ее захватила художественная литература. Таскаю я, значит, рыбешку неизвестно для чего – у пана Стаса полон рыботдел сигов, чиров, нельмы, стерляди, он по три-четыре бочки икры сдает на рыбозаводовский катер, зачем ему костлявая сорная рыба, цена которой девять копеек за килограмм – труд рыбозаводовской дорожке, соображаю насчет жерлиц, подумываю о школе – пожалуй что, придется мотать в город, хотя там такого доблестного ученика, как я, не особо и ждут, мурлычу под нос песнопение какое-то, слышу-послышу – хрустит камешник за спиной, оборачиваюсь: сзади меня целый выводок сельдюков во главе с Мишкой Еремеевым, и все вооружены дрынами. – Ну, ты, рыбак веселый! – презрительно кривя широкий, мокрый рот, сказал Мишка. – Молись! Убивать тебя будем! – Убивать? – я скопил взгляд на ружье, обернутое дождевиком. В одном стволе ружья картечь, в другом – дробь – вроссыпь на всю артель хватит, ежели в упор, да в башку – куцые мозги сельдючы по камням, что дрисню, разбрызжет. – А я ведь, Мишка, хотел рыбы вам отнести, чтоб не голодовали... Отчего, почему мне пришло в голову насчет рыбы? Зачем, почему я сказал Мишке самые, как потом понял, ранящие слова. Ведь, худо-бедно, пьяница Еремеев если не деньги, не хлеб, но рыбу-то привозил с неводной тони, чиров, муксунов, нельму, стерлядь, на кой им мои ослизлые окуни, рыхлые язи и костлявые сороги?.. Но не зря же я поболтался по свету, пожил среди самого чуткого народа – сирот. Я тут же усек, что сделал ляпу, допустил оплошность, и хотел что-то сказать, поправиться, как вдруг Мишка припадочно закатился, завизжал, забрызгал пеной и ринулся на меня, замахнувшись сырым березовым стягом. Я отпрыгнул к дождевику, выхватил ружье и ударил дуплетом впереди сельдюков, нарочно ударил по камням – картечь высокла искры из камней, с визгом разлетелась по сторонам, и я увидел с гомоном убегающих сельдючат, выдернул из патронташа два патрона, пальнул им вдогон и, снова зарядив ружье, направил его на Мишку, парализованно стоявшего со стягом на песчаном приплеске, шагах от меня в трех. Целясь меж глаз, налитых страхом и ненавистью, я сблизился с жертвой и на ходу цедил сквозь зубы: – Молись, вонючий потрох! Теперь ты молись! – и упер ему оба ствола в лоб. Мишка был крепок кишкой, но холод стали, этот самый страшный, самый смертельный холод, все же не выдержал, попятился. А я не отпускал его, переставлял ноги, уперев ружье в лоб, разом вспотевший. Бог спас Мишку и меня – не споткнулся я о камень или коряжину – спуски у ружья были слабые, пальцы мои плотно лежали на обеих скобках, малейшее неловкое движение – и я снес бы голову Мишке с тощей шеи. Я подпятил его к осине спиной и, темнея разумом от власти и силы, выдохнул: – Ну! И Мишка, ослабев нутром и голосом, запрокинутый на бледный ствол дерева, словно распятый на плесенной стене, прошептал: – Слав... – громче! Не слышу! – Вячеслав, прости! – почти уже спокойно, вяло произнес Мишка и, отстранив рукой стволы ружья, медленно, разбито поплелся по берегу, вдоль реки, оставляя на приплеске босые следы. Издали до меня донесло громкое выкашливание, не звук плача, нет, а живого духа, живой плоти выкашливание. И когда я читал кедринские строки: "...выкашливал легкие Горький", я знал уже, как это бывает. Тогда на заполярном Енисее стояла предосенняя пора – самое замечательное в тех местах время, без комаров, со слабым и ласковым теплом, пространственным, почти бесконечным светом, с тишиною,

Астафьев Виктор Петрович Тельняшка с Тихого океана astafevvictor.ru какая бывает только на севере, тоже бесконечной, тоже пространственной, – и в этом пространстве отчетливей и безутешней звучал плач раненного на всю жизнь подростка. Дальше было неинтересно. Дальше за карасинской школой меня подкараулил пьяный Еремеев, ростом и статью с меня, мокрогубый тоже, с оборванными на грязной рубахе пуговицами, в телогрейке, блестящей на полах от рыбных возгрей и на рукавах – от его и ребячьих соплей. В драную распахнутую рубаху видно ребристую грудь – такая бывает у вешних, необходимых уток, заживо съедаемых вами, и тем не менее Еремеев хотел выглядеть мужиком-громилой, грозил мне пальцем: – Эй ты, урка! Я те башку-то оторву! – Че-о-о-о? – Из-за угла школы и из-за праздничной трибуны, сколоченной из неструганных досок, по углам которой ржаво краснели прибитые, полуобсыпавшиеся пихточки и елки, выглядывали раскосые ребячьи морды. Мишки среди них не было. Возле трибуны валялись объединенные еремеевским бычком елки с торчащими сучками – шильцами. И когда Еремеев, громко матерясь, бросился на меня, я схватил одну из этих елочек, отчего-то верхинку схватил, и ударил ею по нестриженной вшивой голове. Еремеев вскрикнул "ой!", схватился за голову, поглядел на ладонь и побежал от школы, показалось мне, как-то даже радостно вопя: – Нозом! Нозом! Он меня нозом, бандит! Я догнал Еремеева и, заступая ему дорогу, испуганно показывал "оружие", которым его поразил: – Я елкой, елкой! Нет у меня ножа! Нет! Сучки! Сучки! Сухие сучки!.. По шее Еремеева тонкими ниточками сочилась кровь. Отталкивая меня с дороги обеими руками, он упрямо рвался к сельсовету: – Нозом! Нозом! Бандит! Бандит!..

Вечером пан Стас скорбно сообщил, что в сельсовете оформлено дело в суд, что отвезут меня в колонию для малолетних преступников, и мать, мама моя разлюбезная, хорошо изучившая желанья и прихоти пана Стаса, в тон ему охотно подмахнула: – Туда ему и дорога. Ночью я подкрался к кровати Зоськи, поцеловал ее в мягкие кудерьки, в соленое от пота лицо, посмотрел на разметавшихся по деревенской жаркой кровати ненавистных мне супругов, на ружье, висящее над их размягшими от сна и жары телами, на патронташ, к ремню которого была прикреплена ножна с торчащей из нее ручкой ножа, недавно мной наточенного до бритвенной остроты, и как бы между прочим подумал: "Прирезать их, что ли?.." Но в это время завозилась в кровати Зоська, невнятно позвала: "Вава! Вава!" – все услышало, все предугадало маленькое еще, но такое чуткое, никогда мне не изменявшее сердце сестры. Всю жизнь она, словно искупая вину родителей передо мною, будет беречь меня и жалеть, да так, что страшно мне бывает порой от ее святой, даже какой-то жертвенной, любви, до суеверности страшно, и я, ожесточенный сиротством и войной, никогда не смог и уже не смогу подняться до той бескорыстной мне преданности, до того беззаветного чувства, каковым наделили господь или природа мою сестру. Если бы провидение вложило перо в руку не мне, а ей, она создала бы, обязательно создала бы великое произведение, потому как сердце ее не знает зла, оно переполнено добром и любовью к людям – написать же, родить и вообще что-то путное создать на земле возможно только с добром в сердце, ибо зло разрушительно и бесплодно. Я побайкал мою малую сестренку, она почувствовала мою руку, успокоилась. Взглянув еще раз на нож и на спящих под ним родителей, я снисходительно им разрешил: "живите!" – ушел в совхоз, где грузили сеном паузок, забрался в пахучее, свежее сено, уснул в нем и проснулся уже в городе – шкипер со шкиперихой сбрасывали с паузка сено на берег и чуть было не подняли меня на вилах, как партизаны восемьсот двенадцатого года чужеземца – мусью. "Ой, бандюга! Чуть не запороли!.." Ломая голову над тем, как мне теперь с помощью милиции попасть обратно в детдом, желательно бы в тот же, из которого вызволила меня моя мама, я стриганул с паузка по сходням. Шкипериха, зверея от праведного гнева, крыла меня вдогон: "И зря, и зря не запороли! Незачем таким головорезам жить на свете! С эких пор с ножом на людей!.. Че из него будет?.." "че будет?" – а кто знает, "че из детей будет?" из меня вот не самый худой солдат получился, и пусть не самый лучший, но все же семьянин и литератор. Вполне самостоятельный литератор, как утверждает критика. В одна тысяча девятьсот сорок третьем году сестра моя Зоська приехала в Арзамас, забрала меня из госпиталя и увезла к себе, "до Сибири". Работала она в ту пору на обувной фабрике "Спартак", жила в общежитии, в комнате на шесть девчоночьих душ, но как-то изловчилась, выхлопотала отдельную комнатку. Сестре шел семнадцатый год, была она заморена, изработана, но красива какой-то издавна дошедшей, тонкой, аристократической красотой, точнее, лишь отблеск, лишь тень какого-то древнего рода докатилась до нее, коснулась ее, и в глазах сестры такое было пространство, такая загадка времени, кою не разгадать, лишь почувствовать под силу было разве что Тициану, Боттичелли, нашему дивному Нестерову, тут еще отзвук ее нечаянной северной родины с этой предосенней тишиной и бесконечностью предосеннего света. Мне всегда было боязно за каким-то дуновением донесенную, духом ли времени и природы навеянную женскую красоту, которую Зоська не ведала, хотя и ощущала, наверное, в себе, да все ей было не до себя. Она норовила недоесть, недопить, не доспать,

Астафьев Виктор Петрович Тельняшка с Тихого океана astafevvictor.ru чтоб только накормить, обстирать, обиходить братца, не убитого на войне, ночами просыпалось чадо – не побоюсь слова, ей-богу, святое, – поднимет голову, завертит тонкой шеей, что весенняя беспокойная синица: "Вава! Ты стонал. У тебя болит?.." – "Война мне снится, война. Спи ты. Тебе рано на работу". Надо было и мне куда-то устраиваться, помогать сестре заработком и рабочим пайком. Тут же, на фабрике "Спартак", я сделался вахтером, самая одноногую подходящая должность. От ночного безделья много я читал и на проходной фабрики "Спартак" начал сочинять стихи, которых стыжусь больше, чем первородного телесного греха. Я шел в литературу просто, по проторенной тропе стопами, лаптями, сапогами и модными туфлями многих графоманов, с той лишь разницей, что медленнее многих, потому как на протезе. Пришкандыбал однажды в молодежную газетку со стихами, и их напечатали. За патриотическое содержание. Целой подборкой. Добро, хоть догадался напечатать то убогое словесное варево под псевдонимом. Зоська разоблачила меня, раззвонила подружкам, кто скрывается под красивой фамилией – Саянский, и сделался я знаменитостью аж на всю обувную фабрику. Зоська по сию пору бережет вырезку из газеты военных лет с моими первыми стихами, как, впрочем, и весь хлам бережет пуще своего глаза – все газеты, журналы с моими творениями. Так уж повелось, что первый свой автограф на новой книге я всегда оставляю ей – моему ангелу-хранителю, и Зоська подаренные ей книги никому не дает читать, обернула их в целлофан, выделила для них в книжном шкафу отдельную полку и в "экстазе" преданности автору написала на торце полки красной краской: "Книги моего любимого брата". Дело дошло до того, что домашний художник – племянница Вичка по подсказке матери на той же полке изобразила из фольги лавровую ветвь. Ну уж, такой славы, таких почестей я выдержать не смог, упрямил убрать незаслуженные атрибуты творческой доблести, пришлось даже пригрозить, что заходить перестану, если не прекратится культ моей личности в этом доме. Сестра моя огорчилась, считая, что меня затирают, оттесняют более пробивные люди, что и я, и книги мои достойны иной участи... Да ладно, пойдем "упямод", как говорил мой второй номер у пулемета, Ероха Козлокевич, не спеша вылазить из стрелковой ниши, – всегда у него в это время находилось неотложное дело: надо было скручивать и прижигать сигарку, без которой он ни жить, ни тем более биться с врагом не мог. Пан Стас в том же, сорок третьем году, чуть раньше моего возвращения из госпиталя, подался "до града Рязань", где формировалась армия Войска Польского. Маму мою он в Карасине оставить не решился, ее б там прикончили мстительные сельдючи, вывез и пристроил ее уборщицей в городской магазин, определив на жительство в переселенческий барак под номером два, жилища, смахивающего на древний испанский галеон, плывущий по болоту и год от года все глубже погружающийся в оттаивающие от человеческих тел болотные хляби. Мама моя ныла в письмах, просила не бросать ее, называла нас с Зоськой "любимыми детками". Но Зоська отчего-то не спешила вывозить маму с севера, я тем более – мы едва-едва справлялись со своей жизнью и не пропали с голоду только потому, что на Покровской горе у нас был картофельный участок. Мама, не глядя на мою инвалидность и на Зоськино малолетство, не постеснялась бы сесть нам на шею и сделать на хлебником, еще и "болеть" примется – привычное ее занятие; да и жилье наше – комнатка в десять метров с кирпичной плитой об одну дырку, с двумя топчанами да дощатым столиком меж них – не располагала к расширению "жилого контингента". Ну, а жизнь шла, двигалась "упямод". Кончилась война. Зоське повысили разряд, я пересел с вахтерской скамейки на редакционный, задами расшатанный стул, сделался "литрабом" в отделе культуры молодежной газеты. Вскорости в Зоську влюбился молодой инженер, по фамилии Рубщиков, по имени Роман. Но хоть сам-то он Роман и еще Рубщиков, да Зоська никакого с ним романа иметь не хотела. "Вава! – рыдала она. – Ты длячего хочешь прогнать меня до постороннего мужчины? Чьто я тебе плохого сделала?" Зоська, когда волнуется или радуется, малость прихватывает польского акцента – от папы Стаса это ей единственное наследство досталось, да и я вечно ее высмеиваю и дразню. Но тогда уж без всякого дурчества орал: "Дубина стоеросовая! Ты что, век меня пасти собираешься? Как Божью овцу?"... С грехом пополам изладил я все же первый, настоящий в жизни роман – вытолкнул сестру замуж. Шурин за этот самоотверженный поступок возлюбил меня еще больше, чем сестру, и живем мы с ним ладно, пожалуй что, как братья – старший и младший. Но вот пришла пора и мне определяться. Я женился на молодой, "подающей надежды" журналистке, по имени Аня, балующейся стихами. Тут семья складывалась со многими спотычками: Зоська привыкла опекать меня, направлять, оберегать, поить, кормить, за руку водить, как я ее когда-то маленькую водил, и с обязанностями своими расставаться не собиралась. Ох, дурная баба! Откуда бы я ни возвращался: с севера, с юга, из столицы, из зарубежной ли поездки, – в любое время дня и ночи, в любую погоду торчит на перроне с цветочком в руке. На сносях была – и то явилась. Я и ругал ее, и побить сулился, она свое: "Вава! Разве тебе неприятно, когда встречают?" Да приятно, приятно,

Астафьев Виктор Петрович Тельняшка с Тихого океана astafevvictor.ru даже более чем приятно, еще самолет катится по полосе или поезд подходит к перрону, я уж отыскиваю глазами мою сестру-красавицу, увижу – и сразу камень с души: "Слава богу, Зоська здесь, значит, все в порядке". Аня ревновала меня к сестре до истерик, до хворей, в горячах даже ногой топнула: "Я или она?!" Но тут со мной сладить невозможно, тут я тоже характер проявил: "И ты, и она!" – сказал. Надолго растянулась семейная наша история. Жена моя чуть не в шею выталкивала Зоську из нашего дома, та, гляди, уж звонит: "Вава, скажи Аняте, что я заняла на нее очередь за яйцами". Но допекла ее все-таки моя женушка, допекла. "Анята, – плакала Зоська, – ты для чего хочешь разлучить меня с братом? Ты хочешь лишить нас жизни?" "Моего мужа две женщины на руках носят, потому как у него протез", – шутит над нами моя жена, как ей кажется – остроумно шутит. Сама себе подарившая право думать, что она была бы выдающимся поэтом, не сгуби я ее талант, меня она высмеивала, книжки мои, особенно первые, изданные в провинции, высокомерно отвергала, но от гонора, пусть и жидкого, никогда не отказывалась. Я со своей в себе неуверенностью, с горького полусиротства, придавленный комплексом неполноценности, пытался даже бросить заниматься литературой, но не смог. Было у сестры уже дитя, да и не очень здоровое, когда Анята дошла до крайности, жестоко оскорбила Зоську, при Романе бросила грязный намек насчет меня и сестры. Мужик оказался не короткой памяти и сказал, что ноги его в нашем доме больше не будет. Насмотревшись на романы, проистекавшие на факультете журналистики в Свердловском университете, да и на вечные редакционные семейные бури, романтические увлечения, спасения "местных гениев" личными жертвами, не раз заканчивавшиеся роковым образом, Анята моя не то чтобы не верила в человеческую добропорядочность, она по-здоровому сомневалась в них. Примеров и материала для сомнений было не занимать. Доморощенный гений, по имени Артур, с детсадовского возраста пишущий стихи, сводивший с ума сперва маму, затем и папу, довел нашу самоотверженную машинистку Лялю до того, что она выпила целый флакон уксуса, сожгла себе кишечник, печень, испортила почки – на всю жизнь осталась инвалидом. Пока разбирались с тихой Лялей, спасали ее, бегали, ахали да возмущались, поборница независимости женской личности, практикантка Анята угодила на операцию под уклончиво-обтекаемым названием "прерывание беременности", после чего в ее суждениях сразу поубавилось категоричности, а в газетных заметках пафосу. Местный гений Артур все порхал и порхал по редакционным коридорам, одаривая человечество стихами в защиту угнетенных народов, гордостью трескучих строчек огораживал детей от атомной войны и поголовной гибели, приветствовал и поздравлял цветистыми фразами женщин с началом весны в Международный женский день, разящими куплетами боролся с пагубным влиянием алкоголизма, делал, правда, все это уже по многотиражкам, районкам и спецбюрокам, в областные газеты и в альманахи, выше которых ему так ни разу выпрыгнуть и не довелось, его больше не пускали. Вот тогда-то, во дни горестных страданий и редакционных бурь, борясь с оголтелым гением, проникшись жалостью к его невинным жертвам, я, как ответсекретарь редакции и член областного комитета комсомола, пусть и шибко "в девках засидевшийся", взялся утешать нашу практикантку, говоря, что еще не все потеряно в ее молодой жизни, что человек не всегда знает свои духовные и физические возможности, но наступает критический момент, и в нем выявляются невиданные силы, способствующие победить любую боль, залечить любые раны, забыть даже невозможные утраты. На почве утрат мы и сошлись: я потерял ногу на фронте, молодая журналистка, пылко борясь за эмансипацию женщин, тоже кое-чего лишилась. И признаться, я, бывший у нее вторым мужчиной, – о, этот вечный второй! – с ужасом думал, что было бы со мной, если бы выпало мне несчастье быть первым? Ведь к упрекам: "Погубил жизнь и талант" – прибавилось бы еще одно ужаснейшее обвинение: "И чести лишил!" Этого груза нашему семейному кораблю было бы не выдержать, он бы "стал на свисток", иначе говоря, опрокинулся бы. Не-эт, в наше время лучше уж быть третьим, пятым, десятым, но не первым! Обречь себя на суд безупречной, уязвленной нравственности? Не-эт, уж лучше сохранить отношения, придерживаясь классического мерил: "Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним..." У нас с Анятой, правда, все было наоборот, поскольку не средневековье, век энтэра на дворе... Однако ж, несмотря на неистощимый юмор и мужественную готовность к постоянным жертвам, ушел я тогда из семьи. В редких своих самостоятельных поступках я бываю тверд. Жена моя, зная это, захворала, сперва просто так, но когда возле меня закрутилась дамочка с сигаретой "Мальборо" в зубах, ценящая мой богатый "внутренний" мир, – заболела всерьез. Зоська за руки привела ко мне моих детей – дочку и сына: "Вава, ты рос сиротой. Хочешь их также обездоливать?" Не знаю, что было бы со мной, с детьми, с нашей непрочной семьей, если б не сестра. Недавно, всего года три назад, хватанул меня небольшой инфаркт – спутник сидячих работ, и загремел я в больницу. Очнулся ночью, за окном Зоська поет: "Вава! Вавочка! Поддай голос! Может, ты уже не есть жив?" – "Если не хотите иметь два

Астафьев Виктор Петрович Тельняшка с Тихого океана astafevvictor.ru трупа, ставьте раскладушку в палате", – сказал я врачу. "Я знаю, ты мне послан Богом", – поется в опере. Зоська уж точно не судьбою, Богом мне дана. Вот не станет меня в этом мире, а произойдет это скоро: фронтовики, перевалившие за шестьдесят, долго собою не обременяют человечество, скорбнет по мне Союз писателей десятью строчками некролога в "Литературке", и тут же, в горячке речей, среди важных дел и заседаний забудут собратья по перу о том, что из колоса, возросшего на поле, возделанном мучениками и титанами мысли прошлых веков, выпало поврежденное осколком войны зернышко, так и не успевшее дозреть на ниве рискованного земледелия. Домашние мои тоже погорюют, поплачут да и примирятся с неизбежной утратой. Но переживет ли меня сестра? Вот в этом я не уверен. Но я отвлекся. В одна тысяча девятьсот сорок восьмом году мы с Зоськой получили квартиру в старом двухэтажном доме, и сестра сказала мне: "Вава, теперь можно привозить маму. Бог не простит, что мы ее побросали". И я поехал на север, за мамой. На старом, знакомом мне с детства колесном пароходе, который отапливался уже не дровами, а углем, кричал бодрее, дымил чернее, шел, однако, все так же неторопливо по водам родной реки, а я наслаждался первый, кажется, раз после войны покоем и природой. На старом пароходе было теснее, не удобнее, но в то же время все располагало к сообществу и взаимопониманию. Дня через два уже все пассажиры более или менее знали друг друга, хотя бы в лицо. Я обратил внимание на скуластого, высокого моряка с медалью "За победу над Японией". И он на меня тоже. Встретится взглядом, дрогнет широким ртом, вроде как хочет улыбнуться приветно, и тут же закусит зубами улыбку. Что-то встревожило меня, насторожило – я силился и не мог вспомнить человека в морской форме, хотя на зрительную память мне грех обижаться. Усталость, множество людей, мелькавших передо мной в войну и после, особенно в газете, заслонили собой что-то очень знакомое, до боли, до смущения ума, до сердечной муки знакомое. На третий день путешествия, да, кажется, на третий, стоял я на палубе, опершись на брус, глазел на воду, на берега, как вдруг кто-то звонко завез мне по спине и затянул: "Вава, дай ручку..." Я обернулся. Мне улыбался во весь рот моряк. – Мишка! – узнал я наконец давнего своего неприятеля. – Еремеев! – Ну, че? Стреляться будем или обниматься? – Не знаю, как ты, Мишка, а я настрелялся досыта... Мы обнялись, расцеловались, малость прослезились даже и скоро сидели уже на корме парохода, меж полениц кухонных дров и бухтой каната, и у ног наших стояла "злодейка" с приветно открытым зевастым горлышком. Вино у нас скоро кончилось, разговоров хватило на всю дорогу. Бывают пустяки, вырастающие до символов! Якорек, наколотый на моей руке тупыми иголками беспощадных детдомовских кустарей, подвигнул Мишку Еремеева на моря. Думающий, что я живу сыто, богато и счастливо за спиной важного отчима и вальжжной мамы, ничем меня не уязвивший и ни разу в Карасине не победивший. Мишка решил достать, переслужить и переплюнуть меня в морях, совершенно уверенный, что встретит меня там однажды, поскольку у меня на руке синее якорь, похожий на раковую клешню. Не зря же он, тот якорек, с болью, страданием, с риском заражения крови, наносился на мое живое тело. Но море широко, судьбы человеческие разнообразны, ни на воде, ни на суше не встретил меня Мишка Еремеев и ничем не отомстил, а вот себя погубил. Он тяжело болел туберкулезом, он сгорал от чахотки и ехал в Карасино умирать. Более ему ехать было некуда и не к кому, более его никто и нигде не ждал, да и тетка, сделавшаяся многолетней бабушкой, едва ли ждала. Пьянчужка ее муж, Еремеев, давно умер, поселок Карасино обезмужичел и тоже замирал, рыбу ловить стало некому, другого ничего карасинцы делать не умели. Скоротечный туберкулез Мишка получил обыденно, мимоходом. Как и все смертельное, страшное, знал я по военному опыту, получалось до удивления просто. Служил он на эсминце "Стремительном", спущенном на воду перед самым началом войны. В боевых действиях участвовал недолго. Где-то в какой-то бухте наша военная эскадра зажала и блокировала отряд японских кораблей, всадила десяток торпед в борта ближних посудин, истосковавшись по военным действиям, жаждая громких побед, жажнула – для острстки, из главных калибров по пирсу, по набережной. Еще и дым от залпа не осел, как все побережье и корабли украсились белыми флагами. Здесь и простояла до конца боевых действий наша эскадра. Моряки гасили пожары, принимали пленных и трофейное имущество, веселились, помогали мирному населению ремонтировать причалы, жилье, кто похозяйственной, копал на склонах огороды, кто помоложе и порезвее – "дружил с приморским населением", крутил романы с девчонками. Радостное событие, скорая победа породили некую беспечность в сердцах моряков. Ходили по океану весело, почти безоглядно, переходя на "мирные рельсы", разминировали воды и порты. Стоя на посту и на вахте, от бурности сил и брызжущей весельем нетерпеливой молодости, били чечетку на железной палубе, мечтали о надвигающейся счастливой жизни на мирной, утихшей земле, среди устало переводящего дух, надсаженного нашего народа. Так вот однажды в этом все не кончающемся чувстве эйфории, опасной, между прочим, болезни, заступил Мишка

Астафьев Виктор Петрович Тельняшка с Тихого океана astafevvictor.ru
Еремеев на пост, на верхней палубе. Ночью ударил снежный заряд. На Мишке тельник, фланелевый бушлатик, форсисиста бескозырка. Но, считая себя шибко закаленным, гордым, все еще кипящий внутри от горящего сознания совершенного однажды подвига, насквозь промокший и продрогший, замены вахтенный не потребовал, даже сухой одежды не попросил. Утром его знобило, ломало, он встал под горячий душ и выстукивал зубами: "Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда..." Ослабленный в детстве полуголодным житьем, но до помрачения ума самолюбивый, уже поняв, какая болезнь привязалась к нему, пробовал скрывать ее Мишка. По совету всезнающих бабок давил и ел собак на берегу, по рецептам еще шибче знающих, просоленных моряков и знахарей корейского и китайского происхождения пил горькие травы, грыз ночами похожий на комбикорм комок глины, обматывался компрессами на горячем спирте, держался бодро, много и весело пел, смеялся. Но силы его таяли, тело худело, провалились щеки под крутыми скулами, лицо спеклось от жаркого румянца, шелушились слабые губы, всюду выступала кость. Он пытался побороть болезнь работой, вкалывал наравне со всеми, надеялся неистовостью природы, упрямством характера заломать болезнь или хотя бы спрятать ее от экипажа. На корабле, в тесной его железной коробке, ничего не спрячешь. Друзья по экипажу какое-то время "не замечали" Мишкиной болезни, тайно, затем в открытую помогли ему. При нынешней медицине Мишку, наверное, вылечили бы – живуч по природе парень, половину легкого отхватили бы, чего-то подтянули бы, поднакачали. Но тогда еще нечем было лечить туберкулез в открытой, тяжелой форме. Однажды, на перекомиссии, "зацепили" Мишку, подержали в одном-другом госпитале и, пока на ногах моряк, потихоньку с флота списали. Ну и как у нас, душевных русских людей, водится, после госпиталя отвальная, братань на родном корабле, хлопанье по плечу, благодарности командования Тихоокеанского флота, командира эсминца, старпома, замполита, пожелание скорейшего выздоровления, счастливой жизни, доброй жены и многих детей... Мать моя все еще была при магазине и при продавце, на этот раз по фамилии Краунчикас – что-то все бросало ее на иностранцев! Снова имелась у нее "заместительница", которая мыла и убирала магазин, огребала зимами снег во дворе, летом убирала грязь, ящики и тару. Мама, как всегда, "болела", валялась на кровати, на этот раз с выменным на говяжью тушенку, выданным из старого журнала романом про любовь полудикого, страстного африканца к белой жене своего господина. Африканец ненароком сотворил госпоже серого ребенка, за что оба они – и африканец, и госпожа – понесли заслуженную кару: господин обоих любовников задушил в постели беспощадными волосатыми руками. "Че на свете деется-а-а! Разврат! Сплошной разврат!" – восклицала мама с неподдельным, как и прежде, восхищением и возмущением. Она безбедно перевалила войну, очень хорошо сохранилась, все еще была привлекательная, пышна телом, и я внутренне кипел, поставив в мыслях рядом с нею так и не нажившую тела, стремительную, изработанную, зоську. Мама моя грубым и брезгливым чутьем здорового человека сразу угадала болезнь нашего гостя и шипела на меня, зачем я его приволок? Еще паразит всех! Я ей говорил, что это Мишка! Еремеев Мишка, из Карасина, что пароход в Карасино не пристаёт и что, как будет попутный катер, он уплывет к тетке, но лучше бы ему в больницу, у него началось кровохарканье. Мама мне сказала, что в больницу в здешнюю его не возьмут, что надо было ему оставаться на магистрали, там есть специальные больницы для таких – называются тубдиспансер. "Мы при магазине. Не дай бог хозяин заметит, прибалт нравен и ой-ей-ей как крут! Стас по сравнению с ним ангел небесный..." Измятая, истерзанная сиротством и житьем в чужом доме, душа Мишки Еремеева, обостренной все чувствующая от приступившей вплотную смертельной болезни, конечно же уловила настроение в "мамино доме". Моряк поскорее заспешил к тетке в Карасино, и вот тогда-то, на прощанье, вынул Мишка из чемодана тельняшку, сунул ее мне и сказал с отчетливой значимостью: "Носи на здоровье!" Я попробовал отказаться – дороги тогда были вещи, но Мишка сказал, что ему тельняшка уже ни к чему, дай БОГ доносить ту, что на теле. И я, стиснув зубы, примолк, чтобы не издешевить наше прощанье пустословием. Когда на скользкой вонючей палубе рыбосборочного катера мы обнялись, не убирая рук с костлявой спины моряка, я попросил его простить меня за все, "в чем был и не был виноват", и писать просил, если захочется о чем-либо поговорить, если потребует помощь и просто так. Но Мишка Еремеев так никогда мне и не написал. Я десять лет не снимал с себя тельняшку, носил ее от стирки до стирки. Она не только согревала мое тело, она помогала "моему перу", не позволяла предаться излишнему словесному блюду и бахвальству. Затем тельняшка как-то сама собой перешла к моему сыну. Ее укорачивали в рукавах, чинили, раза два ушивали, и однажды я увидел в ванной полосатую грязную тряпку – остатками тельняшки мыли полы. Я возмущился, хотел заорать, но сдержал себя. Что делать, что делать?... Такова жизнь! (Чуть не брякнул модное "се ля ви"!) Я не страдал так широко распространенной у нас хворью – самомнением, не болел самоздравием,

Астафьев Виктор Петрович Тельняшка с Тихого океана astafevvictor.ru знал свое место на земле, и во многочисленном ряду собратьев по перу, зная место и меру дарования, не лез "с калашным рилом в суконный ряд", не обивал пороги редакций, не канючил вставить меня в план, не кусошничал, не унижал своего человеческого и солдатского достоинства. Я почти всю послевоенную жизнь, пока не случился инфаркт, сидел в редакции, на опостылевших мне стульях и даже в креслах, с помощью зарплаты и пенсии по инвалидности худо-бедно кормил семью и себя. У меня была хорошая память и от сиротства доставшееся чувство юмора, с возрастом переродившееся, что ли, – не знаю, как и сказать, – в иронию, к сожалению порой злую. Но дарование мое невелико, и, чтобы писать, мне надо было все время "подзаряжаться", нагружать память, заставлять работать сердце, глаза, уши, нос, все, что дает возможность человеку наблюдать, слушать, чувствовать. Я не способен был, как тот юноша из петербургского салона, из юнкерских казарм вознестись за облака и потревожить самого небесного сатану... Я доживаю свою жизнь богоданную, человеческую и вместе с нею домалываю долю среднего провинциального писателя. Доживание первой наполняет меня печалью и сожалением о чем-то несвершившемся. Чего-то не дождался я от нее, от жизни, до чего-то не дошел, чего-то не допонял, не долюбил, не дорадовался, и, значит, в той, другой жизни, если она существует, мне есть что ожидать и что делать. Во второй, творческой моей жизни свершилось все, что я мог совершить, и я устал, исчерпав свои возможности, переизнасиловал свою нервную систему, перетрудив себя, насадив здоровье. Книги мои ненадолго переживут меня, и это их и моя справедливая доля. Лишь несколько страниц в повестях, два-три рассказа, которые я написал в молодости, в поздней инвалидной молодости, потому как ранней у меня не было, она осталась в окопах и госпиталях, когда влюбился в Анюту и когда родился мой первый ребенок, а у Зоськи Вика, – дались мне легко, на вдохновенной волне, па душевном подъеме. Остальное: труд, труд, труд, перекачивание организма, изжигание сердца в искусственно поднятой температуре. Я прожил творческую жизнь на отшибе, особняком, и не хвалю себя за это, но и не ругаю. Что толку в оргиях, в толпе, в дыму табачном, в толкотне и шуме при составлении планов областного "средне..." какого-то издательства. Собрания сии, слюнвявый Лева Гендерович, выбившийся из нашей газетки в главные редакторы областного издательства, называл "делилом кровельного железа в энском жэке". Завидовал ли я большим и "достославным"? Да, завидовал, но зависть укрощал сам, и она меня не ослепила. Негодовал ли я по поводу того, что бесталанные царят на месте талантливых и учат их жить и работать? Да, негодовал и справедливо негодую до сих пор. Сожалел ли я о том, что не перебрался в столицы и не помаячил "на виду"? Я провинциален по духу своему, неторопливой походке и медленным мыслям. Слава Богу, понял это тоже сам, и понял вовремя. Заступал ли я своим скрипучим протезом дорогу веселому, дерзко-даровитому, кудрявому и звонкому? Нет, не заступал, потому как на моем пути и не встретился таковой. Бил ли я тех, кто кормился ложью, давал об себя вытирать ноги ради сиюминутной выгоды, кто откликнулся, как увеченный костями человек на любое изменение погоды, вторя вою переменчивых ветров: "Возьмите меня! Все сделаю, как захотите!" Один раз набил морду чиновному подлецу на месте его действия, в его просторном кабинете. Большого от меня, безногого инвалида, и требовать нечего, да на большее я с мерой моего таланта, а значит, и мужества – по Еремке шапка – и не способен, тем более что подлец тот сразу "исправился", подтверждая истину: коли каждый порядочный человек набьет морду подлецу – вся подлость сразу и истребится, вот и не хочу я отбирать такую нужную и благородную работу у других людей, устремленных к справедливости. Не только "всему свой час", но и всякому, высокопарно говоря, творцу свой труд, свои муки, тревоги и мятежность духа: один не ладил с царем, ссорился с высшим светом, срамил мировую гармонию, да и в Боге что-то его смущало, и в небесах не все устраивало. Другой шепотом, чтоб не разбудить детей в малогабаритной квартире, ссорился с женою из-за того, что прокантовался в редакции до полуночи, жена думала – у сестры. Мы даже умрем по-разному: "Угас, как светоч, дивный гений, увял торжественный веноч", посередь зимнего Петербурга, в окружении блистательных друзей и стечении плачущего народа. Я, скорее всего, в ночную пору тихо отойду в областном госпитале для инвалидов Отечественной войны, где сестры не берут денег за уколы и за судно, где устаешь слушать ослабелых умом и памятью людей, денно и ночью вещающих о небывалых подвигах. Подлинную войну они забыли, да и помнить не хотят, потому как подлинная была тяжелой, некрасивой. Не осуждаю я их даже за то, что перед смертью просят они не вынимать зубные протезы изо рта, чтоб выглядеть "красивей". Отныне им судья уже Бог, но не люди. Я и сам ныне, чтоб выглядеть "красивше", почти ничего не пишу о войне, да и прежде мало писал, все боялся оскорбить память моих собратьев-пулеметчиков нечаянным хвастливым словом, неловким сочинительством и ложью – мера таланта не только мера мужества, но и мера правды. До понимания ее я, может, и дорос, но до глубокого осмысления и изображения – нет, и поэтому перестал брэнчать на военную тему, ведь чем больше

Астафьев Виктор Петрович Тельняшка с Тихого океана astafevvictor.ru наврешь про войну прошлую, тем ближе сделаешь войну грядущую. Приближающемуся последнему часу и всем, кто придет проводить меня, я мог сказать, не отводя глаз: "Пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала, – я верю: то Бог меня снегом занес, то вьюга меня целовала!" И сотворю кощунство за божественно-ясноликим Блоком, процитирую себя, совсем еще провинциального: "А так ли прошли мои годы? А сколько осталось прожить? А много ли будет народу, когда понесут хоронить?" Немного. Но будет. И поплачут. И помянут, и перед смертью сам я всплакну строкой любимого поэта: "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?" Никого не кляню, никого не ругаю, а благодарю Создателя за то, что даровал он мне радость творческого упоения и подсоблял в минуты колебаний и соблазнов жить по правилу, завещанному храбрым русским офицером и светлым поэтом Батюшковым: "Живи, как пишешь, пиши, как живешь". Я не изведаль того пламени, какой сжигал Лермонтова, Пушкина, Толстого, не узнал, каким восторгом захлебывались они, какой дальний свет разверзался пред ними и какие истины открывались им. Но мне тоже светил вдали огонек, звал, обещал удачу. Я тоже знавал, пусть и краткое, вдохновение, болел и мучился словом, и мои муки никому не ведомы, и моя радость сочиненной строкой, сотворением собственного чуда останутся со мною. Пускай не пламень, только огонь, даже отсвет его согрел и осветил мою жизнь, спасибо судьбе и за это. Спасибо и тебе, многотерпеливая бумага, и прости меня лес живой – это из тебя, из живого сотворили мертвую бумагу, на которой, мучимый природным даром, я пытался оживить и лес, и дол, и горы, очиститься душой и чаял, всегда чаял, хоть немножко, хоть чуть-чуть помочь сделаться людям добрее. Я донашиваю девятый протез и, как дождусь сына из армии, сменю госпитальную палку – такой вот странный зарок себе назначил. Сын будет донашивать уже вторую тельняшку, снятую с моего тела, Бог даст, с живого. Дочка заканчивает десятый класс. Она похожа на сестру мою и статью, и характером – вылитая тетка! Но может, я это выдумал и хочу в это верить. Был я, между прочим, в Польше, отыскал пана Стаса. Он тоже инвалид войны. Обрадовался мне старик до беспамьяства, как выходцу с того света. Живет пан Стас смирно и скудно. У него клочок земли на юге Польши, бедной прикарпатской земли, едва-едва кормящей семью: жену, очень молчаливую, дородную и работающую крестьянку, и двоих детей, которые уже собираются в Краков, "до научного заведения". Пан Стас просил, чтоб приехала до него дочь Зоська. И я пытался склонить ее к дальнему вояжу, но сестра моя выявила непреклонность: "Не хочу! Мне хорошо достаточно нашу дорогую маму". Надеюсь, после нечаянной моей исповеди о жизни и судьбе провинциального писателя тебе не надо повторять: "Если можешь – не пиши". Вот передо мной разноцветные кубики, рассыпанные по полу, словно перед малым дитем. На кубиках нанесены: аэропорт на Дальнем Востоке, ты и Люда, пенистый голубой ручей, две тельняшки, Зоська и жена, дочь и сын, любимая племянница, стол, заваленный бумагами и книгами. За окном оледенелая река, стиснутая горами, над горами прорезь зимней, ничего доброго не сулящей, йодисто-желтой зари; куда-то тянет самолет, воеет собака у соседа, и где-то, за тысячи верст отсюда, заброшенный станок Карасино, потерянные его могилы. На севере все зарастает медленно, зато могилы теряются быстро – изопревшие в сырости надгробные знаки выталкивает мерзлотой. Давно уже нет могилы Мишки Еремеева, на земле все его забыли. Как мне все это собрать "до кучи", как из всего этого "материала" выстроить сооружение под таким многообязывающим, под таким до дрожи, до оторопи пугающим словом "сочинение", да еще и "художественное". Кабы я знал, кабы ведал.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!